

Д.М. Магомедова

**«Я ОДИН... И РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО...»:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАСКИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
(Статья вторая)**

Литературный облик «деревенского Леля», едва сформировавшись в сборнике «Радуница» (1916), почти сразу подвергся нешуточным испытаниям. И надо сразу сказать, этих испытаний не выдержал.

В марте 1916 г. Есенин был призван в армию и год прослужил в Царскосельском военно-санитарном поезде № 143 имени императрицы Александры Феодоровны. Как ни странно, непосредственные военные впечатления в стихи этого времени не попадают. Правда, их было не так много: Есенин лишь дважды ездил с поездом к театру военных действий, а затем был откомандирован в канцелярию военного госпиталя в Царскосельском Федоровском городке.

О Федоровском городке надо сказать особо. Трудно найти место, где литературный облик «деревенского пастушка» пришелся бы так кстати. Он был задуман как стилизованный архитектурный комплекс, обнесенный кремлевской стеной. По замыслу авторов проекта, среди которых были архитекторы, художники, археологи, коллекционеры древностей, музыканты, в Городке должны были сосредоточиться коллекции древнерусских орнаментов, парчи, оружия, икон и церковной утвари. С 1914 г. в Городке был открыт лазарет. Под патронажем штаб-офицера для поручений при дворцовой команде полковника Д.Н. Ломана в лазарете устраивались концерты для раненых, в которых неизменно принимал участие Есенин. Один из таких концертов посетили императрица Александра Феодоровна и великие княжны Мария и Анастасия, и Ломан представил Есенина царской семье, именно в той роли «деревенского самородка», которую культивировал в

Петрограде и сам поэт. Еще один концерт перед великой княгиней Елизаветой Феодоровной состоялся в Москве.

Правда, об этих эпизодах своей биографии Есенин после революции по понятным причинам вспоминать не любил. Лишь раз упомянув об этом в автобиографии 1923 года, он тут же добавил: «Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя»¹.

Последний факт документально не подтверждается: единственное достоверно установленное наказание во время службы в армии заключалось в том, что Есенин попал под 20-дневный арест за опоздание на службу. И произошло это не на фронте, а в том же Федоровском городке. 17 марта 1917 г. – и это подтверждено документально – Есенин был направлен в распоряжение воинской комиссии при Государственной думе в связи с сокращением штатов. При этом он получил аттестат, в котором удостоверялось, «что возложенные на него обязанности с 20 марта 1916 года по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно и в настоящее время препятствий к поступлению Есенина в школу прапорщиков не встречается»². Вряд ли подобный документ мог быть выдан санитару, находящемуся в дисциплинарном батальоне.

Однако в Царском Селе Есенин общался не только с кругом Д.Н. Ломана. В двух шагах от Федоровского городка в 1916 г. проживал известный историк общественной мысли, критик, публицист Разумник Васильевич Иванов-Разумник. Ф.Э. Голлербах в своих воспоминаниях прямо противопоставляет влияние на поэта Иванова-Разумника влиянию Д.Н. Ломана: «В Царском под крылом полковника Ломана очутился голубоглазый и златокудрый Сережа Есенин, из него пытались сделать придворного поэта, но в воздухе уже пахло революцией и поэта тянуло к иному кругу. Пестовал его Иванов-Разумник»³. В письме к поэту А.В. Ширяевцу от 24 июня 1917 г. Есенин, говоря о невозможности подлинного сближения крестьян-

ских поэтов с интеллигенцией («питерскими литераторами»), оговаривался: «Но есть, брат, среди них один человек, *перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим.* (Выделено мной. – Д.М.). Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя» (Т. 6. С. 96). Судя по этому письму, Есенин уже не скрывает, что тяготится своим сформировавшимся литературным обликом, готов его отбросить и показать иное лицо. Недвусмысленно указан и источник нового литературного и поведенческого образца.

С конца 1916 г. Иванов-Разумник был идеологом литературно-общественной группировки, именовавшей себя «Скифами». В 1916–1919 гг. в «скифских» изданиях (сборники «Скифы», левозсеровские газеты «Дело народа» и «Знамя труда», журнал «Наш путь») печатались писатели, сочувственно относившиеся к революционным переменам, видевшие в них проявление стихийного народного духа: Александр Блок, Андрей Белый, Алексей Ремизов, Евгений Замятин, Николай Клюев, Петр Орешин. Среди них оказался и Есенин. В «маленьких поэмах» («Инония», «Пришествие», «Иорданская голубица», «Отчарь», «Товарищ», «Пантократор») и стихах этого времени, составивших сборники «Преображение», «Сельский часослов» и отчасти – «Трерядница», он активно использует идейные формулы, излюбленные сюжеты и символы, связанные со «скифским» мироотношением. В том же письме А.В. Ширяевцу Есенин говорит о «скифстве» как воплощении глубинных корней русской культуры, противостоящей Западу: «Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина» (Т. 6. С. 95).

«Скифство» понималось как вечное стихийное стремление к свободе, способное прорваться через косную мещанскую успокоенность и обновить

обветшалый «старый мир». Излюбленными историческими параллелями в публицистике и поэзии «скифов» были сопоставления революционных событий в России с эпохой первых лет христианства, Голгофой и Воскресением, а также с Римской империей периода ее разрушения «варварами» и скифами. Крушение старого уклада жизни воспринималось как начало новой эры мировой истории, равной по значению эпохе христианства. От «варварских масс» – новой движущей силы истории, – «скифы» ждали новой этики, опрокидывающей христианскую систему ценностей, а также нового мироустройства, одним из вариантов которого оказывался «мужичий рай» – утопия крестьянских поэтов.

А для Есенина «скифство» оказалось поводом радикально изменить собственный литературный облик, превратиться из «смирненного инока» в «белобрысого босяка», бунтаря.

В «скифском» Есенине невозможно узнать вчерашнего идиллического «пастушка», «кроткого инока» «Радуницы». В поэме «Инония» звучат богоборческие и откровенно кощунственные мотивы. Подобно «озорнику» из «Дневника писателя» Достоевского, герой Есенина выплевывает причастие, проклиная «дыхание Китежа» и Радонеж, называет себя «пророком», «говорящим по Библии», дерзко заявляет: «Даже Богу я выщиплю бороду / Оскалом моих зубов». Во втором поэтическом сборнике – «Голубень» (1918) – явно обозначались, бунтарские мотивы, которых не было в первом издании «Радуницы». В программном стихотворении «О Русь, взмахни крылами...», прочерчивая свою поэтическую родословную от Алексея Кольцова с пастушеским рожком до «смирненного Миколая» – Клюева, Есенин создает новый и достаточно неожиданный автопортрет озорного богоборца:

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,

Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

Показательно, что в автобиографиях, написанных в 1922–1923 гг., Есенин подчеркивает свою религиозную индифферентность еще в детские и отроческие годы: «В Бога верил мало. В церковь ходить не любил» (Т. 7. С. 11), – пишет он в 1923 г.

Один из поэтических сборников этого времени не случайно назван «Преображением»: очевидная отсылка к евангельскому эпизоду, понятому как символ духовного обновления России, совмещается и со столь же очевидным личным мотивом преобразования поэта, уже второй раз переживающего метаморфозу собственного облика.

Третья метаморфоза связана уже с московским периодом творческого пути Есенина. Группировка «Скифы» прекратила свое существование в начале 1919 г., когда были арестованы почти все ее участники, жившие в то время в Петрограде, и закрыты левозэсеровские газеты и журналы. Есенин с середины 1918 г. вместе с женой, будущей актрисой З.Н. Райх, переехал из Петрограда в Москву, и репрессии его миновали.

В Москве Есенин познакомился с молодым поэтом Анатолием Мариенгофом. Вместе с Вадимом Шершеневичем, Рюриком Ивневым и ху-

дожниками Борисом Эрдманом и Георгием Якуловым в январе 1919 г. они выпустили декларацию, в которой провозгласили рождение новой поэтической школы – имажинизма.

Не вдаваясь сейчас в обсуждение теоретической платформы этого объединения, заметим, что имажинизм для Есенина был не только литературной школой. Возникновение этой группировки совпало с началом НЭ-Па. Есенин и Мариенгоф оказались хорошими организаторами, и вскоре появилось издательство «Имажинисты», а также литературное кафе «Стойло Пегаса», книжная лавка на Большой Никитской возле Московской консерватории, позднее – журнал «Гостиница для путешественников в прекрасном». Есенин погрузился в совершенно новый для себя богемный быт, связанный с многочисленными эпатажными выходками, литературными и не литературными скандалами. Сохранились воспоминания о том, как имажинисты отдирали с домов дощечки с названиями улиц и приколачивали новые, со своими именами («Улица имажиниста Есенина»), как в одну из майских ночей расписали стены Страстного монастыря кощунственными «богоборческими» стихами из поэмы Мариенгофа «Магдалина». Внешне Есенин вновь меняется до неузнаваемости: навсегда исчезает деревенская поддевка, зато появляются лакированные штиблеты и знаменитый цилиндр, в котором Есенин за месяц до смерти увидит своего «Черного человека».

С.М. Городецкий пронизательно оценил литературно-бытовую роль имажинизма в творческом развитии поэта: «Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Он хотел быть европейцем. Словом, его талант не умещался в пределах песенки деревенского пастушка. Он уже тогда сознательно шел на то, чтобы быть первым рос-

сийским поэтом. И вот в имажинизме он как раз и нашел противоядие против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни. <...> Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле в быту он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость дендизма»⁴.

В этой характеристике требуют уточнения только слова «поднимал себя над Клюевым». Скорее речь должна идти о смене литературно-бытового прообраза, формирующего новую литературную маску Есенина. Однако при этом упомянутые Городецким «дендизм» и «европеизм», вполне органичные для петербургских поэтов, близких «Цеху поэтов» (М. Кузмин, Б. Садовской, С. Ауслендер, В. Комаровский и т.п.), для Есенина оказались лишь временной переходной маской. Длительное турне Есенина по Европе и Америке вместе с его новой женой, знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан, сразу же создало ситуацию, в которой Есенину заново пришлось выбирать между «европеизмом» и антизападническими настроениями.

В Берлине и Париже русская эмиграция встречала Есенина и Дункан с нескрываемой враждебностью, видя в них «большевистских агентов». Выступления на поэтических вечерах и в литературных кафе сопровождались скандалами. Есенин пытался гасить напряжение неумеренным пьянством, и это завершилось нервным шоком. И хотя Есенин заключил в Бер-

лине договор на издание своих книг, его не покидало ощущение оскорбительности своего положения «молодого мужа Айседоры Дункан» и общей чуждости себе всего того, с чем он сталкивался в Европе и Америке. 1 июля 1922 г. в письме к А.М. Сахарову Есенин пренебрежительно пишет о европейских впечатлениях:

«Родные мои! Хорошие!..

Что сказать мне об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом!

Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут, пьют и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. <...> Пусть мы нищие, пусть у нас голод, и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину» (Т. 6. С. 139–140).

Но и сказать о том, что Есенин просто укрепился в своих антизападнических настроениях, было бы недостаточно. Статья «Железный Миргород», написанная под впечатлением американской поездки, вносит в это утверждение важные коррективы. Описывая океанский лайнер, Есенин объявляет, что «разлюбил нищую Россию» и словно отвечает на слова из процитированного собственного письма: «Милостивые государи! лучше фокстрот со здоровым и чистым телом, чем вечная раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про “Лазаря”. Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил “до ветру” в чужой огород». (Т. 5. С. 267).

Слова эти – больше, чем эпатаж. Создается ощущение, что Есенин почувствовал себя в пустоте между двумя полюсами, а главное – утратил ощущение ответного понимания, засомневался в том, что он сам и его стихи действительно необходимы где бы то ни было. Он не только расстался с иллюзиями по отношению к «загранице»⁵, но впервые задумался, не по-

терял ли он и родной дом, есть ли на свете та Россия, о которой он писал с юности⁶.

7 февраля 1923 г., возвращаясь из США, он пишет А.Б. Кусикову: «Сандро, Сандро! Тоска смертельная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, *законному* сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. <...> Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь» (Т. 6. С. 154).

Возвращение в Москву напоминало возвращение на развалины прежнего мира. Брак с Дункан распался. Имажинистские предприятия переживали не лучшие времена. Пьяные скандалы, начавшись за границей, продолжались в Москве.

Мотивы утраты дома, пути, осознание иллюзорности традиционных ценностей зачастую связывались в русской лирике с мотивами отчаянного и бесшабашного разгула, цыганской стихии, опьянения. Достаточно вспомнить «Цыганскую венгерку» Ап. Григорьева, «ресторанные» стихи из «Страшного мира» А. Блока, чтобы понять генезис «кабацких» и «хулиганских» стихов Есенина, написанных в период заграничной поездки. В «Собрании стихов и поэм», вышедшем в Берлине в 1922 г., шесть из них помещены в разделе «Песни забулдыги». Через год в Берлине выходит сборник «Стихи скандалиста», по возвращении в СССР Есенин создает новый вариант сборника – «Москва кабацкая» (Л., 1924) с тремя разделами: «Стихи как вступление к “Москве кабацкой”», «Москва кабацкая» и «Любовь хулигана». Наконец, в том же году он выпускает сборник «Стихи (1920–1924)», где также важное место занимают разделы «Москвы кабацкой» («Исповедь хулигана», «Москва кабацкая», «Любовь хулигана»), но

завершается книга двумя разделами, выводящими за пределы «кабацкой» темы: «После скандалов» и «Русь советская». Наиболее вызывающим при этом выглядит берлинский сборник «Стихи скандалиста», включающий два стихотворения, не вошедших ни в один прижизненный «советский» вариант «кабацкого» цикла: «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...» и «Пой же, пой. На проклятой гитаре...». Столь же эпатажным выглядит и литературно-бытовое поведение: письма Есенина этого времени пересыпаны матерщиной, чего не было ни в ранней юности, ни в более поздний период. Становятся притчей во языцех его пьяные скандалы, драки и бурные объяснения в милиции⁷.

Так перед читателем произошла еще одна метаморфоза лирического героя Есенина. По мнению А.Б. Мариенгофа, в значительной степени этому превращению способствовала читательская реакция на его выступления: «В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа Политехнического музея, Колонного зала, литературных кафе и клубов.

Еще до эпатажа имажинистов, во времена “Инонии” и “Преображения” печать бросила в него этим словом, потом прицепилась к нему, как к кличке, и стала повторять и вдалбливать с удивительной методичностью.

Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя “хулиганом” в поэзии и в жизни.

Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения “Дождик мокрыми метлами чистит”, в котором он впервые в стихотворной форме воскликнул:

Плюйся, ветер, охапками листьев, —

Я такой же, как ты, хулиган.

Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала:

“Хулигана”!

Тогда совершенно трезво и холодно он решил, что это его дорога, его “рубашка”.

Есенин вязал в один веник свои поэтические прутья и прутья быта. <...>

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.

Маска для него становилась лицом и лицо маской»⁸.

И все же не случайно до заграничной поездки маска «хулигана» была лишь одной из возможных масок лирического героя, а во время путешествия и некоторое время после него стала едва ли не единственной. Дело было теперь не в сознательном конструировании поэтического облика, а в том, что лирическому герою Есенина, утратившему всякую экзистенциальную опору, предстояло заново попытаться ее обрести, предварительно ответив на вопрос, каково же его подлинное «я».

В стихах, написанных в 1924–1925 гг., внезапно становится очевидным, что за вереницей ликов его лирического героя, за всей театральностью иных его масок кроется настоящая трагическая тема: ощущение утраты собственного лица. Одновременно обнаруживают свою иллюзорность и казавшиеся незыблемыми ценности: дом, деревня, любовь, революция. Новая власть, которую поэт искренне хотел бы считать своей, отталкивала его. Отклики на его стихи в советской критике были в лучшем случае снисходительно-поучающими, в худшем – резко враждебными (самый крайний пример – знаменитые «Злые заметки» Н.И. Бухарина).

Но, как это часто бывает в искусстве, самый трагический период в жизни поэта стал временем создания самых глубоких и зрелых стихотворений и поэм: Есенин называл этот период своей Болдинской осенью. И может быть, осторожно пытался рассмотреть в себе новое лицо – лицо... Пушкина. Об этом неоднократно вспоминали друзья Есенина: «Идем по Тверской. Есенин в пушкинском испанском плаще, в цилиндре. Играет в Пушкина. Немного смешон. Но в данную минуту он забыл об игре. Непре-

рывно разговариваем. Вполголоса: о славе, о Пушкине. Ночь на переломе. Хорошо, что есть городской предутренний час тишины. Хорошо, что улицы пустынные. Козицкий переулок. Есенину прямо. Мне направо. На углу останавливаемся. На прощанье целуем друг у друга руки: играем в Пушкина и Баратынского»⁹. А.Л. Миклашевская вспоминала, как в один из дней своего рождения Есенин вышел к гостям «в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел – и сконфузился. <...> Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: “Это было очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-то быть на него похожим”»¹⁰.

Его поздняя лирика остается исповедальной, но в ней все чаще появляется второй голос: он пытается взглянуть на себя чужими глазами, создать объективный портрет самого себя. Этот чужой голос звучит, например, в «Письме к женщине»:

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел –
Катиться дальше вниз.

В «Письме от матери» чужой голос вообще занимает господствующее положение, а голос лирического героя выполняет роль композиционной рамки:

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохую.
Гораздо лучше б
С малых лет

Ходил ты в поле за сохой.

<.....>

Но ты детей

По свету растерял,

Свою жену

Легко отдал другому,

И без семьи, без дружбы,

Без причал

Ты с головой

Ушел в кабацкий омут.

Наконец, в поэме «Черный человек» (хорошо известно, что образ «черного человека» восходит к пушкинскому «Моцарту и Сальери») этот чужой обвиняющий голос связывается с не сразу узнанным двойником: самоотчуждение оказывается одновременно и возможностью увидеть себя со стороны, и осознать, что борьба с темным и губительным началом жизни происходит в его собственной душе.

В стихах последних лет остается лишь одно начало, не утратившее своей безусловной ценности и позволяющее поэту заново ощутить трагическое единство с миром: это природа, включающая в свою бесконечную череду возрождений и смертей и человеческое существование. Такие стихотворения, как «По-осеннему кычет сова...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Синий май. Заревая теплынь...», «В этом мире я только прохожий...», «Мелколесье. Степь и дали...», «Цветы мне говорят – прощай...» и т.д., возвращают есенинскую лирику к классическим параллелям между природным и человеческим бытием. Но там, где классическая элегия пушкинского времени фиксировала безнадежное расхождение между возрождающейся каждую весну природой и безвозвратно уходящим временем человеческой жизни, Есенин увидел

подчинение человеческого существования единому природному закону, распространяющегося даже и на законы поэзии:

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

Внезапная добровольная смерть Есенина неожиданно обнаружила то, что было так необходимо поэту при жизни: поистине всенародную любовь, которую бессильна была победить развязанная официозом борьба с «есенинщиной» и которая не угасла и сегодня. Кому-то эта любовь кажется загадкой: ведь в русской поэзии много больших поэтов, может быть, более талантливых, чем Есенин. Есенинские темы – родина, природа, любовь – темы общезначимые, труднее найти поэта, у которого бы об этом не говорилось. Может быть, с наибольшей проницательностью секрет этой любви понял Владислав Ходасевич, и эти слова, как кажется, приложимы и к феномену сегодняшнего отношения к его поэзии: «Трагедия Есенина превращается вообще в трагедию человека, оскорбленного низостью того, что он считал своим идеалом. Раскаяние и бунт, отчаяние и разгул – вот что вычитывают сейчас в Есенине, уже не придавая особенного значения тому, в чем именно он раскаивается и против чего бунтует. Если угодно, мы тут присутствуем при очищении поэзии от слишком преходящего, слишком “гражданского”. Время подергивает туманом частности, остается

лишь сущность: драматическая коллизия и страдание, ею вызванное. Это страдание и этот мятеж сейчас особенно ясно вычитываются в Есенине; и то и другое дано на фоне такой же страдающей, такой же мятежной, утратившей свет России. Есенинский надрыв, с его взлетами и падениями, оказался сродни всей России. За это Есенина любили и любят, за это и должно его любить»¹¹.

¹ *Есенин С.А.* Полное собр. соч.: В 7 т. М., 1999. Т. 7. С. 13. Далее все ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома и страницы.

² Впервые опубликовано: *Юшин П.Ф.* Сергей Есенин: Идеино-творческая эволюция. М., 1969. С. 197. См. также комментарий: Т. 7. С. 401.

³ *Голлербах Э.Ф.* Город муз. Царское Село в поэзии. СПб., 1993. С. 205.

⁴ *Городецкий С.М.* О Сергее Есенине // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 184.

⁵ Ср. в его письме к А.Б. Мариенгофу от 12 ноября 1922 г.: «Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, "заграница", а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно, значение его для всех, как значение Изы Кремер (популярная эстрадная певица. – Д.М.), только с тою разницей, что Иза Кремер жить может на свое <пение>, а тут хоть помирай с голоду.

Я понимаю теперь, очень понимаю кричащих о производственном искусстве.

В этом есть отход он ненужного. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксенова. С грустью, с испугом, но я уже научился говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки» (Т. 6. С. 149–150).

⁶ Ср. более позднюю декларацию в стихотворении «Русь советская»:

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и пожалуй, сам я здесь не нужен.

⁷ Ср., напр., неожиданное сравнение Терека с Есениным в стихотворении В.В. Маяковского «Тамара и Демон»:

Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.

⁸ *Мариенгоф А.* Роман без вранья // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 343–344.

⁹ *Грузинов И.В.* Есенин // Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 355.

¹⁰ *Миклашевская А.Л.* Встречи с поэтом // Есенин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 86.

¹¹ *Ходасевич В. О Есенине // Ходасевич В. Некрополь. Литература и Власть. Письма к Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 217.*